

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

А. ФУРМАНОВА

# ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

БОЕЦ — ПИСАТЕЛЬ — БОЛЬШЕВИК

*Поэ редакцией А. Фадеева*

О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1938

## ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Дмитрий Фурманов родился в небольшом селе Середя Костромской губернии, ныне Ивановской области, в 1891 году, 25 октября по старому стилю.

Семья Фурманова жила в доме Милова, который содержал трактир. Хозяин любил выпить, и часто маленькому Митяю — так звали дома Дмитрия — приходилось быть свидетелем семейных ссор и драк в доме Милова. О детстве своем Фурманов записывает в дневнике:

«Из своей ранней жизни я ничего решительно не помню — лишь по рассказам старших я был ужасный драчун. Смутно помню жизнь в 6—7 лет, когда я был заводиловкой всех драк. Не раз доставалось мне от отца, который был чрезвычайно крут — били меня нещадно».

В 1897 году семья переезжает в Иваново. Отец, бросив крестьянствовать, открыл чайнушку. Доход скудный и не обеспечивает семью, растущую с каждым годом. Предоставленный самому себе, Митяй все время проводит на улице. Любимый друг — Федя Зайчиков, работник в чайнушке у отца, — вместе с ним ходил за грибами или удил рыбу на реке Талке.

«Этого Федю мы очень любили, он был мастер и врать, и «пули лить», и сказки рассказывать, и многое, многое другое. Спать с ним на сеновале была одна отрада, — как начнет что-нибудь рассказывать, так вот и заслушаешься и развесишь уши, да замрешь от страху, так как рассказывал обыкновенно он что-нибудь страшное, что я особенно любил. Он-то и заставил меня обратиться к книгам».

Читает Митяй много, без разбора, все что попадается под руку. Зачитывается Майн-Ридом, Вальтером Скоттом,

бредит приключениями. Среди уличных мальчишек он признанный коновод.

Двенадцати лет он кончает городское училище, и отец в надежде сделать из него коммерсанта отдает мальчика в торговую школу. Живой, впечатлительный Митяй попадает в чуждую для него обстановку. Арифметика, математика, бухгалтерия... А дома, спрятавшись в уголке или выбрав укромное местечко за сараем, он заполняет тетрадь за тетрадью стихами. Стихи перемежаются с прозой, записями о прочитанных книгах. От Майн-Рида Митяй переходит к Тургеневу, Льву Толстому, Григоровичу, Надсону.

И вот Фурманов решает вести свой дневник.

«Почему же мне не приняться и не написать повесть о себе? Я в душе поэт, я пишу стихи, люблю литературу, терзаюсь за русский язык и очень ревную порою к нему приближающихся, но, повидимому, недостойных. Из детства своего я здесь намерен написать лишь то, что без особенного напряжения мысли смогу переложить на бумагу, т. е. факты, возможно ярко характеризующие меня (если только характеристика моя пригодится будущим поколениям). На свое будущее я смотрю спокойно, мне думается почему-то, что я должен сделаться писателем — и обязательно поэтом».

Так записывает Фурманов на первой странице своего дневника 26 июня 1910 года. С этого дня он систематически ведет дневник до конца своей жизни. И красной нитью проходит в дневнике стремление сделаться писателем, непременно писателем.

Перспектива стать коммерсантом ему ненавистна. Окончив торговую школу, он выдерживает жестокие бои с отцом — угрозы, споры, слезы. Наконец, Фурманов уезжает в Кинешму и поступает в реальное училище. Там, представленный самому себе, он с головой уходит в учебу и чтение. Он упорен в труде, но жизнерадостен и умеет повеселиться. Маленькая комната, длиною аршина в четыре и аршина в три шириною, темнокрасные обои. Этот цвет придает комнатке вид кабинета. На стене прикреплены два больших листа из слоновой бумаги — на них афоризмы, пословицы, разного рода изречения. Самый угол занят снимками Толстого во многих видах. Над этажеркой, заваленной книгами, большая картина: «Лев Толстой на смертном одре». Перед окном стол,



Д. ФУРМАНОВ.  
Иваново, 1904 г.

по обе стороны — в два ряда с каждой стороны — книги, книги, книги.

Такова комната, где проходит жизнь молодого Фурманова. Здесь он впервые знакомится с произведениями Рылеева, которые оставляют в душе его большой след. Рылеева он считал одним из лучших, передовых людей его времени. Он сравнивает Рылеева и Толстого, впервые он ставит вопрос о счастье людей, но не может найти ответа.

«Кончаю, будет философствовать, я еще слишком юн, чтобы задевать такие крупные мировые вопросы. Эх, Кондратий! Далеко же ты меня угнал, о тебе я уже было и кончил, а хочется сказать еще, что был ты великим революционером. Больше, Кондратий, я о тебе писать не могу, прощай, не поминай меня лихом».

От поэзии, которая все время привлекала Фурманова и до конца дней волновала его, он переходит к прозе. Записывает много и упорно и все ищет ответа на «проклятые вопросы».

Человек коллектива, он собирает кружок по изучению литературы. Друг и защитник всех обиженных, он пользуется в училище большой любовью. К нему идут, в него верят.

Однажды на уроке учитель обратил внимание на грязный и неопрятный вид одного из учеников. Он вызвал его и перед всем классом высмеял. Ученик был сыном прачки. Мальчик краснел и бледнел перед учителем. Не выдержал Фурманов, поднялся с парты во весь рост и резко сказал учителю:

— Стидно вам упрекать его за то, что он плохо одет, — ему, быть может, есть нечего.

Учитель приказал Фурманову замолчать. Фурманов, не обращая внимания, продолжал говорить. Тогда учитель потребовал, чтобы он ушел из класса. Вспыхнув, Фурманов окинул взглядом класс, увидел много сочувственных глаз, медленным шагом вышел на середину класса и крикнул:

— Ребята, с таким идиотом нам оставаться незачем, кто со мною?..

Больше половины класса во главе с Фурмановым покинули класс. Дорого обошлась Фурманову эта первая забастовка. Его исключили из реального училища, но исключили на три месяца, так как он был первым учеником и показал начальству свои зубы только впервые.

«Эх, люблю я эти похождения, душа так и рвется вон, так и просится размахнуться шире, нагуляться вволю! Как дружно, как пылко мы сработали это дело, уж не дадут погибнуть тебе одному, заступятся, коли им ты товарищ, а не собака, не предатель. Как славно они поддержали меня, как сочувствовали они мне за героическое поведение. Все протягивали мне руки, все говорили: «Прощай, Митяй, прощай, прощай!» Я пожимал им крепко руки... Прощайте, друзья. Прощайте, спасибо, что поддержали».

С тяжелым сердцем уходил в изгнание Фурманов. За эти три месяца, оторванный от учебы, он еще сильнее привязывается к коллективу. Кружок теперь собирается у него в комнатке. Писарев и Добролюбов стали предметом внимательного изучения в кружке. И изучение этих критиков перевернуло мировоззрение Митяя.

«Страшный перелом совершился в моей душе, все, во что я верил доселе, что непоколебимо чтил и уважал, все это теперь как-то иначе осветилось, помутнело, уступило место иному, еще не знакомому. Нет уж более неопределенного, безотчетного преклонения перед «тихими наслаждениями», перед миром и покоем «душевной радости», и вижу и знаю я, что резко и холодно расстался я с прошедшим. Но что будешь делать, в душу запало сомнение, душа трепещет, борется, не хочет верить в новое, да не может не верить в него, не может не признать его правоту и осмысленность».

*Писарев и Добролюбов перевернули вверх дном все мои мечты, все убеждения. Я знаю, что ничего еще нет во мне основательного, твердого, но зачатки чего-то уже есть. Вот как будто наткнулся я на острый-острый нож, режет он меня, сильно режет, но я терплю, а почему? Да потому, что мне как-то и страшно и приятно в то же время видеть, как этот страшный нож уничтожает все, чем я жил до сих пор. Но он не только сокрушает. Он ищет что-то новое, неизвестное, жадно стремится вглубь, вот дойдет он до основной, главной темы прошлой жизни, ударит по ней сразу, и не будет ее никогда. Явится новая жизнь, явятся новое сознание, новые стремления и мечты».*

Вопрос вставал за вопросом. Далеко за полночь длились беседы. Расходясь на рассвете по домам, горячо спорили между собой юные друзья Фурманова, а сам он садился за дневник и писал до восхода солнца.

Фурманов жадно набрасывается на книги, ни одна из них не остается неизученной, на полях многих остались заметки, возражения, критика. Лев Толстой, Достоевский, Чернышевский...

«Читать надо, как можно больше читать, но читать не только для чтения — надо продумывать каждую мысль, каждое слово, чтобы оставался след, а не пятнышко, — тогда может быть разрешен вопрос, а главное — надо думать, думать самому, книга пусть будет только толчком, которая то туда, то сюда толкает твои мысли».

Впечатлительный и чуткий, с большой силой воли, он всегда оставался в тени, никогда себя не выставлял, никогда не рвался на первые роли, они шли к нему сами собою; требовательный к себе, он был требователен и к другим. Он привлекал к себе большой простотой, ясностью мысли и необычайной прямоотой. Не умел подлаживаться, не умел фальшивить с самим собой. Фурманов внимательно присматривался к людям, изучал их, наблюдал за ними, выручал из беды. Зарабатывая уроками гроши, он помогал товарищам, отдавая иногда все, что имел.

Фурманова все сильнее и сильнее тянет к литературной работе. Снова он возвращается к поэзии. Но она уж не так волнует его.

«Умерла моя муза, недолго она озаряла счастливые юные дни» — так могу я сказать о себе, слегка переделав известный стих звучного Надсона. Действительно, как будто замерло мое страстное желание писать стихи, пропало рвение к звонким рифмам — надолго ли это?..»

Годы учебы в Кинешме оставили большой след в жизни Фурманова. Здесь вырабатывается его характер, здесь он вплотную подходит к литературе. Годы в торговой школе в Иванове, жизнь в семье не давали возможности развернуться силам Фурманова.

Записи дневника 1910—1912 годов раскрывают перед нами рост Фурманова. Его угнетает тяжелая обстановка реального училища, барская обеспеченность одних учеников наряду с нуждой других. Сам он питается плохо, зарабатывает уроками мало. Нехватает ему средств на покупку книг. Книжки — это его пища. Часто, отказываясь от обеда, он отдает полученные за урок деньги за книги, а сам кое-как перебивается. Жизнерадостность, бодрость не покидают его. Он упивается свободой и возможностью все делать так, как ему хочется.



Д. ФУРМАНОВ.

*Иваново, 1905 г.*

«Как сон, мелькают передо мною детские годы, просто не верится, что из-под гнета попал я на свободу, что я когда-то не был таким вольным орлом, что когда-то осмеливались явно несправедливо удерживать мои желания и мысли. Это ужасно. Но все это было. Сорваны цепи, растаяла мгла. Теперь душа моя вольна на всю жизнь. Здесь все, все собралось к тому, чтобы шире раскрыть передо мною ворота жизни... Байрон мучился, не найдя



ничего отрадного в земной жизни. Я не хочу таких мук, не буду же я насильно ненавидеть то, что мне нравится. Человек врёт — ему не верят, и он мучается — я никогда не вру и говорю часто с риском, прямолинейно».

Честный и прямой, простой и жизнерадостный, впечатлительный и чуткий — таким был Фурманов всю жизнь. В юности он мучился от ряда неразрешенных вопросов. Особенно тяжел для него был вопрос о религии.

Уже в 1910 году перед Фурмановым стал вопрос о боге — существует он или нет? Он ищет литературу по этому вопросу. Он мучительно прислушивается к словам попов, и на страницах его дневника появляются рассуждения о библии, Ветхом и Новом завете, о римской истории, о временах христианства.

В пасхальную ночь Фурманов идет в церковь — в последний раз, как он говорит, послушать пасхальную службу. Он надеется в последний раз пережить те чувства, которые волновали его в детстве, и уже не может: ему кажется, что вместо певчих тянет какой-то козел впристяжку с захудалым попиком.

«Я стоял каким-то козырем, руки назад, грудь колесом: не молился, не хотелось лгать... Нет, это все не так. Веры у меня нет. Не верю я в этого неведомого бога, а потому и не молюсь, давно не молюсь».

Фурманов стал атеистом.

Холодно разбирает он произведения Достоевского, проповеди старца Зосимы, трезво смотрит он на религиозные воззрения Алехи Карамазова. Острым ножом, о котором он писал, изучая Добролюбова, вскрывает он сущность этих воззрений, глубоко анализирует и опровергает их.

## УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ

Отзвенели последние юношеские песни, отпраздновали день выпуска, собрались последний раз на кружок друзья. У каждого вставала мысль: а что дальше? И ответ был готов: университет во что бы то ни стало.

Ходили обнявшись по лесу, приходили на обрыв реки Волги и клялись в вечной дружбе, вспоминали горячие споры в кружке, и каждый выбирал себе дорогу. Решали



Д. ФУРМАНОВ.  
*Кинешма, 1910 г.*

в столице устроить свое землячество и никогда не порывать связи. Встал и перед Фурмановым этот вопрос — куда итти?

«Скоро, очень скоро... Так скоро, что даже самому не верится. Но должен быть этот крупный шаг в моей жизни, решительный шаг. Столица... Университетская жизнь. И я жду — мучительно жду. Последний раз, дневник мой, пишу я тебя здесь. Придет новая пора, пришла она уже, придет новая жизнь, и новые песни услышишь ты, от новых, пока неизвестных птиц...»

Все лето готовится Фурманов к экзаменам — изучает латынь: без латыни нельзя поступить в университет. Но вот все кончено — прошение подано, и Фурманов нетерпеливо ждет ответа. Приходит ответ, что на историко-филологическом нет мест. Он решает итти на юридический.

Все равно куда итти, только в столицу, в Москву. Москва интересует его, как очаг новой силы и деятельной работы. Кипучая, суетливая жизнь влечет его к себе. Он чувствует ее постоянное бурление, шум. Он весь в предвкушении новых мыслей, которые откроются ему в стенах университета.

После посещения первых же лекций ему становится ясна его ошибка, и он пишет в своем дневнике:

«Куда итти мне? Влечет меня совсем другое, понял я, что не сюда попал, нет удовлетворения, не могу я изучать сухие своды законов, когда рифмы прут из нутра».

Фурманов бросает юридический факультет и переводится на историко-филологический. Чрезвычайно характерны первые записи его о Москве. Проходя по улицам Москвы, он встречается с едущими на автомобиле царем и царицей.

«Видел царя, народу уйма, шума столько же, а чувства в меру, конвоя шпалерами не было. Жалкая картина!.. Судьба не рассчитала, отдавая ему в руки царственный жезл. И вот теперь проявляется его малоспособность в деле правления. Ненужный, ненужный он человек. А народ ревел, бушевал, и сам не знал почему... Ну черт с ним, с царем...»

Эти мысли Фурманов высказывал в 1912 году, только попав в столицу. Тогда уже просыпался в нем революционер, только еще робкими шагами идущий навстречу правде.

Годы студенчества — голодная жизнь, холодная комната, беганье по грошевым урокам.

Жил он в студенческом общежитии на Малой Бронной. Маленькая комнатуха, стол, стулья, чайник, в котором неделями не сменяется морковный чай, этажерка с книгами. Не имея подчас денег на обед, Фурманов попрежнему откладывал гроши на покупку книг. Начало библиотеке, которая осталась после его смерти, он положил еще в голодные студенческие годы. Столовался Фурманов в студенческой столовой: 15 копеек обед — одно первое блюдо (о втором и думать себе запрещал), утром фунт черного хлеба — на весь день.

«В студенческой наешься просто прелесть, тарелки две выхлебаешь, хлеба поешь за троих — ну, а второе уж и лишнее, впрочем, не лишнее, конечно, завистливо как-то смотреть на эти котлеты и творожнички, что едят вокруг тебя... Комната плохая, близкая к кухне, часто слышишь запах из кухни, да вдобавок ко всему по стенам разгуливают клопы, Плохо, что и говорить».

Но все это мало расстраивало Фурманова: молодость, жажда знаний брали свое. Закрыв уши, чтобы не слышать шума из соседних комнат, Фурманов погружался в чтение. Особенно внимательно и тщательно прорабатывал Фурманов в это время Достоевского. Книги Достоевского отчеркнуты, подчеркнуты, и на полях рукою Фурманова сделаны либо возражение, либо критика, либо одобрение. Никогда Фурманов не читал просто для чтения, — читая, продумывал, записывал, изучал.

Фурманов задыхается в стенах университета, того университета, о котором столько мечтал, на который молился. Трезво смотрит он на товарищей, окружающих его. Участвуя в вечеринках, не чувствует единения.

«Чорт его знает почему, но достаточно мне пробыть в университете час или два, как самые страшные мысли охватывают меня и просто приводят в ужас. Мне хочется крикнуть кому-то, проклясть кого-то невозвратно, злобно, жестоко. На душе тяга. Чувствую свое одиночество, нет друзей, не могу подойти к ним — серые, безликие они, погрязшие в житейских вопросах. А большие вопросы, вопросы, которые изгрызли мою душу, их не интересуют».

Тяжелые тучи сгущаются над университетом, всякое свободное слово подавляется жестоко — кнутом, нагайкой, тюрьмой. Фурманов, не вовлеченный в водоворот подпольного революционного движения, тяготеет университетом. Это уже не восторженный юноша. Он

задыхается в тенетах лжи и бесправия, но не находит человека, который мог бы направить его богатую натуру на правильный путь, и он кричит в своем дневнике:

«Нет, нет, скорее отсюда, вон отсюда, дальше, туда, где слышится свободное слово... Реже, реже, как можно реже заглядывать сюда! Прочь проклятый разъединяющий дом, где расчетливый ум поглотил все живое, человеческое существо!»

Встречаясь с товарищами, он задает им вопрос: как они чувствуют себя в университете? Тот же ответ, и он не сдерживается:

«Значит, все... все так?.. Так что же это за храм науки? Я думал, что это моя больная душа заныла, раны мои заныли и обрушились всей тяжестью на бедный университет... Ошибся я!.. Всем тяжело!.. Тюрьма, а не храм!»

Так неудовлетворенный Фурманов развенчивает тот идеал, к которому стремился все молодые годы.

Посещая кружки, он присматривался к товарищам. Он искал среди них того, кто мог бы стать для него другом, прислушивался к горячим спорам, но ничто не может удовлетворить его. И он мечется в поисках верного пути. Записи его дневника того времени чрезвычайно тяжелы. Порой оставляют его силы. Он запирается на несколько дней в своей комнатке, никуда не выходит, читает, пишет, ходит из угла в угол.

Измученный бессонными ночами, он однажды ночью вышел из дому и пошел Тверским бульваром. Было далеко за полночь, а бульвар кишел студентами. К одной группе пристал и Фурманов. Он услышал брань по адресу полицейского. Когда он подошел вплотную, он увидел девушку, бледную и заплаканную, которую поддерживал студент. Девушка бежала из дому, где издевались над ней, а полицейский, приняв ее за проститутку, грубо схватил ее и потащил в участок. Она закричала, студенты вступились, разгорелся спор.

Фурманов оттащил полицейского, обругал его. Свистки, гудки и... Фурманов очутился в участке.

Фурманову присудили или отсидеть три дня, или заплатить штраф в пять рублей. Денег у него не было.

«Пришли в участок, долго ждал. Дали мне полицейского для сопровождения в арестный дом. Надзиратель ткнул в меня пальцем и приказал вести. Я подошел к нему и сказал: «Чорт вас побери! А за что вы меня посадили?»

За то, что я вступился за девушку, несчастную, избитую, которую оскорбил ваш чин?» Надзиратель вскинул рыжие усы и спокойно сказал: «Не ругаться, а то в морду получишь, ничего, что блестящие пуговицы на тебе, все вы, студенты, шарлатаны, то и дело норовите в петлю попасть!» Я был взбешен, но сдержался, только зло плюнул».

Так произошло первое столкновение Фурманова с полицией. Три дня он отсидел в арестном доме. В дневнике своем Фурманов дает типы людей, сидевших с ним. Он их внимательно изучал, выспрашивал и под конец настолько свыкся с ними, что, когда наступило время выходить ему, он нежно простился с ними.

«Что-то теперь вы делаете, друзья! Так же мечтаете о дорогих цыгарках, так же бродите из угла в угол? День да ночь, сутки прочь! Гадко, гадко... А когда уходил оттуда — вышел и закурил, из-за решеток закивали знакомые головы. Что-то дрогнуло в груди, и слезы показались на глазах. Жалко стало чего-то».

Эти три дня заключения наложили большой отпечаток на Фурманова. Войдя в тюрьму одним, он вышел из нее уже другим. Тюрьма дала толчок новому пониманию действительности.

## НА ВОЙНЕ

Европейская война, которую подготавливали в течение многих лет буржуазные правительства, разразилась. Борьба за рынки, захват земель, обнищание народа, разорение отсталых наций, грабеж их достояния, гибель сотен тысяч и миллионов людей. Зная о том, что его могут мобилизовать в армию, Фурманов решает сам уехать на фронт, но не в качестве солдата, а в качестве журналиста, «брата милосердия».

Его тянет ближе к массам. 17 июля, в день мобилизации, он участвует в грандиозной манифестации.

«Скверное у меня осталось впечатление. Подъем духа у некоторых, быть может, и большой, чувство, может быть, и искреннее, но в большинстве что-то тут фальшивое, деланное. Видно было, что многие идут из любви к шуму и толкотне. Нравится им эта бесконтрольная свобода. Хотя на миг я делаю, что хочу,— так и звучит

в каждом слове. «Долой Австрию!» — крикнет какая-нибудь бесшабашная голова, и многоголосое «ура» покроет его призыв. А между тем это фальшиво, это лживо. А все эти требования — «шапки долой», «вывески долой» — ведь это не по чувству, не по убеждению, а по хулиганству. Я слышал, я видел, кто выступает. Гнусные, жирные рожи, которые все равно на фронт не пойдут. Подло, гадко было в эту манифестацию».

В этих записях чувствуется большой перелом в мыслях Фурманова, он еще не осознает истинного смысла событий, но в нем просыпается его мятущаяся натура, его бунтарский дух.

Фурманов едет на фронт с летучкой. Перед Фурмановым встает вопрос за вопросом. Опять он мечется в поисках ответа, опять охватывает его жажда найти правильный путь. Иные мысли, иные слова, новые, неизвестные доселе, появляются в записях Фурманова.

«Россию могут создать лишь великие перевороты, а для великих переворотов нужны и великие люди...»

Медленно, но верно нащупывает он почву правильного пути. Не было только человека, который помог бы ему разобраться в событиях, осветил бы их ему просто и ясно. Заметки того времени, которые посылал он в столичные газеты, говорят о страданиях в окопах, о боях и тяжелой жизни солдат. Одна из этих записей особенно характерна. Фурманов рассказывает о своем посещении братского кладбища. Он видел кресты с надписями, а рядом безвестную могилу венгерских солдат.

«Там написано: такой-то погиб за родину, царя и отечество, а почему на этой могиле написано только количество убитых неизвестных солдат-венгерцев? Они ведь тоже погибли «за родину, царя и отечество». Тех хоть близкие когда-нибудь отыщут. Разве у этих нет матерей, жен и детей, которые захотят взглянуть на дорогую могилку? Почему они зарыты, как собаки?.. Ненависть к врагу! Да разве они враги? Кто же, кто их сделал врагами?»

Фурманов все пристальней присматривается к фронтовой обстановке.

«Офицеры отсиживаются по штабам, их там больше, чем в окопах. Каждый бережет свою драгоценную шкуру, а какой-нибудь прапорщик из студентов да «серая скотинка» несет всю тяжесть бессмысленной бойни».

Все чаще и чаще в записях Фурманова появляются

мысли о «бессмысленной бойне», о надвигающейся революции.

«Это агония, разве вы не видите? Слышите, как сильно бьется пульс жизни? Взгляните широко открытыми глазами, напрягитесь взволнованным сердцем, и вы почувствуете живо могучее дыхание приближающейся грозы! Новой мобилизацией хотят ослабить силы, чтобы некому было поднимать революцию, чтобы было кем ее задушить! Но не выйдет, много еще осталось и останется честного — они не пойдут за вами, они сохранили честь и тоску по свободе. Вы одни!.. И потому вас сокрушат... Казаки откажутся бить нагайками, солдаты откажутся колоть родных братьев, вы одни... а дыхание все жарче, все ближе! Молодая сила уже громко заявила свое могучее «пора»...»

Пора и Фурманову, задыхающемуся в тенетах лжи, вырваться из этого омута. В конце 1916 года он возвращается в Иваново, рабочий город, родной и близкий, и сразу же попадает в водоворот надвигающихся событий. Вместе с товарищами он организует полулегальные рабочие курсы и вплотную примыкает к революционному движению.

## ВСТРЕЧА С М. В. ФРУНЗЕ

Февральская революция застала Фурманова неподготовленным к сознательному участию в борьбе. Он сам отмечает в своем дневнике, что до этой исторической весны он не имел представления о классовых противоречиях и классовой борьбе. И когда он с горечью признает, что масса интеллигенции вошла в революцию без всяких знаний, это признание относится и к нему самому.

Он совершенно прав, считая, что его общественные стремления и боевой темперамент быстро привели бы его в ряды крайних революционных группировок подполья, если бы он узнал про них до революции. Но ему не удалось натолкнуться на источник революционной мысли и дела, и сложную работу политического самоопределения ему пришлось проделывать уже в революционные годы. Наивно и празднично встретил он низвержение царизма. С подкупающей искренностью отмечает он в дневнике



туманность и бессодержательность своих первых митинговых речей.

«Я думал, что буду сильно волноваться, что все перепутаю, замнусь и в результате не выскажу и десятой доли тех мыслей, что вихрем крутятся в голове... Были отдельные места, когда я чувствовал сильную слабость, начинало туманиться в голове, я терял основную мысль, цеплял слова друг за друга, слова для слов. И все ждал — скоро ли кончится, скоро ли разлетится этот туман. Сначала боялся, что материала нехватит и на 40 минут, а на деле проговорил 2 $\frac{1}{2}$  часа. Скачки были страшные. Из одной области перебрасывался в другую. Затрагивал много вопросов, в которых сам разбирался туго. Ясно одно: мы, интеллигенция, оказались совершенно неготовыми. В социальных вопросах приходится разбирать все с азбуки, берешь не знанием, а смелостью, искренностью порыва».

Через пять месяцев постоянной, напряженной работы, споров, бесед, чтений и лекций Фурманов стал понимать свои ошибки и сознаваться сам перед собой и перед другими в политической безграмотности.

Он смело отрекается от того, что по неведению совершал три-четыре месяца назад. Он смело и честно заявляет о переломе в своем сознании.

В мае он примкнул к партии эсеров только потому, что близкие его товарищи были в этой партии и потянули его за собою. Срастись с этой соглашательской партией, принять ее программу Фурманов не мог. Очень скоро он понял, что это не тот путь, который искал он долгие годы.

«Два месяца тому назад я уехал по деревням, взял мандат от Комитета (эсеров. — А. Ф.). Но вот совершилось выступление 18 июля. Я стал присматриваться к взаимоотношениям крестьян и пленных и увидел, что они совсем не враги, что обе стороны обмануты, что они умышленно натравлены друг на друга. Я сделался в душе интернационалистом. В соответствии с переломом изменил сущность своих бесед. Когда же я приехал и заявил свой взгляд на войну — Местный комитет вывел меня из состава партии как не согласного с ее основными положениями...

Когда мне стали ясны скрытые пружины мировой трагедии, когда я с ужасом оглянулся на только что пройденный путь, полный жестоких, преступных ошибок, — я бросился бежать, бежать без оглядки, и примчался к крайнему левому берегу».



Д. Фурманов среди крестьян Ивановской области.  
1917 г.

Фурманов сознает классовый смысл своего разрыва. Он отмечает в дневнике, что у эсеров остались лишь мещане, обыватели, а ушедшие от них — в большинстве рабочие.

Уйдя из партии эсеров, Фурманов по существу приближается к большевикам, но вступить в партию Ленина — Сталина ему мешает непреодоленная им мелкобуржуазная романтика анархизма.

В дни Октябрьского переворота Фурманов — председатель Революционного штаба. Он весь отдается советскому строительству. Уже в сентябре он понимает неизбежность гражданской войны.

Работая в штабе, он сталкивается здесь с замечательным большевиком, старым ивановским подпольным работником Михаилом Васильевичем Фрунзе. Фурманов жадно прислушивается к речам Фрунзе, следит за ним, не выпускает его из поля своего зрения. Все в нем ему нравится, и он становится ему все ближе и ближе. Речи Фрунзе, построенные просто и ясно, оставляют большой след в уме и сердце Фурманова. Теперь он ночи напролет

просижи в ист за изучением марксистской литературы, изучает книги Ленина, все глубже и глубже проникаясь его учением. И перед ним открывается новый мир.

Увлечение Фурманова анархизмом было временное, необоснованное. С первых же шагов перед ним встал вопрос о работе в советах. Бросить работу в совете, ставшей Фурманову дорогой и близкой, как предлагала группа анархистов, он не мог. Частые беседы с М. В. Фрунзе разбили последние остатки анархизма. Простота, ясность и глубина учения Ленина окончательно разбили в Фурманове все колебания, и вопрос был для него решен: марксизм, большевизм уже владели умом и сердцем его.

«Теперь прибило к мраморному берегу — скале. На нем построю я свою твердыню — убеждение. Только теперь начинается сознательная работа. Работа определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная борьба с классовым врагом. До сих пор она была плодом настроения — темперамента; отныне она будет плодом научно обоснованной, смелой теории... Были колебания, была неуверенность, но события, думы, разговоры гнали меня неизбежно к берегу коммунизма. Нехватало только смелости заявить открыто. Теперь все кончено. Теперь Дмитрий Фурманов — коммунист-большевик».

«Борясь все время с рабочими и за рабочих, — пишет он, — я был в то же время оторван от них, разгорожен какой-то формальной, фальшивой стеной. Беспартийный!.. Эсер!.. Анархист!.. Коммунист-большевик!.. Где же правда? Для чего же и как я попал к анархистам? Эта ошибка была бы простительна мало развитому рабочему, но мне, интеллигенту, простить этого легкомыслия нельзя. Каюсь, именно легкомыслие было. И легкомыслие это питалось моим безудержным, торопливым характером, подчас губительной решимостью и стремительностью».

С предельной откровенностью, с беспощадной последовательностью анализирует Фурманов свой путь к большевизму. Мало можно найти таких примеров, когда сам человек подходит к себе, как к социальному явлению, к своим индивидуальным шатаниям, как к частному и своеобразному отражению общих социальных процессов. М. В. Фрунзе сразу почувствовал в Фурманове большевика. Не случайно он, рекомендовавший Фурманова в партию, через неделю рекомендует его секретарем губернского комитета партии большевиков. Просто и вни-

мательно подходил Фрунзе к людям, изучал их, умел отбирать нужных и крепких. Он понимал каждое их слово, учил, воспитывал их, исправлял их ошибки.

На всю жизнь сохранил Фурманов нежную любовь к своему учителю, с большой теплотой говорил о нем, в трудные минуты искал у него помощи и всегда находил поддержку, ласку и совет.

## КОМИССАР ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ

Колчак двигался широким фронтом на Пермь, Казань и Самару. Уже была потеряна Уфа, под ударом находилась Самара и другие крупные волжские города. Колчак, направляясь к Москве, ломал сопротивление фронта красных, грозил опрокинуть красные полки в Волгу. Отрезан Туркестан, не стало хлопка, застыли фабричные корпуса. Контрреволюция стремилась задуть молодую Советскую республику. По всей стране прокатился призыв великого Ленина: «Все на Колчака». И потянулись бесконечные вереницы ткачей и ткачих ивановских фабрик, требуя отправки их на фронт. Не увидел и Фурманов. Он просил, умолял, требовал и, наконец, добился разрешения Фрунзе отправиться вслед за ним на колчаковский фронт.

«Теперь пришел к разрешению вопрос большой важности. Вопрос, над которым долгими месяцами раздумывал я, который все время точил мою мысль. Вопрос о Красной Армии. Долго я носил в душе мечту о поступлении в ряды рабочей армии. Теперь мечта эта должна осуществиться. Нечего оттягивать дни. Вопрос должен быть разрешен завтра же. Мало теперь одной любви к рабочим, мало одного сознания, что у тебя все самое святое и дорогое в защите угнетенных и обездоленных людей... Надо же не на словах, а на деле доказать, что ты во всякую минуту с ними и всегда готов бороться за их дело, на служение которому теперь ушло все, что есть честного и благородного. Наступил момент — пора покончить с мещанством и беспечностью, надо твердо заявить: я борец в вашей армии, я борец за ваши идеалы. В такую бурную годину неужели я могу спокойно учиться, читать, сидеть дома и чувствовать, что там без тебя совершается великое дело, что бойцы сражаются, не жалея жизни? А ты думаешь

позорно бежать от рабочих, бежать, чтобы сытнее прожить, в то время когда пролетарии мрут с голода! Это удел мелких людишек, а не нас, которым защита рабочих интересов дороже своих мелких, будничных забот. Вчера Фрунзе своими огненными словами укрепил во мне правильность моих взглядов и стремлений, и теперь я бодрый, полный сил, буду ждать, когда с винтовкой в руках я встану в ряды бойцов за великое освобождение трудящихся».

Так писал Фурманов 25 сентября 1918 года.

Фрунзе назначен командующим IV армией. Фурманов выехал к нему со 2-м отрядом ивановских ткачей. Партийный комитет скрепя сердце отпустил Фурманова. Оставили дорогое Иваново, где впервые Фурманов получил политическое крещение, где было положено столько труда, пережито столько радостей и страданий. Неизмеримо много дали Фурманову эти два года революции. Ему казалось, что за всю свою жизнь он не получил бы, не пережил бы того, что было пережито здесь, в родном городе, в революционной борьбе.

«Все самое лучшее, самое благородное, что было в душе, — все обнажилось, открылось чужому и собственному взору, — открылись новые богатства, о которых прежде не думал. Например, умение говорить, ораторская способность, прежде как-то совсем не замечал. Теперь она, эта способность, раскрывается и крепнет. А я радуюсь ее расцвету и с нею вместе цвету. Единственно, о чем жалею, — что не буду жить и работать среди рабочей массы, среди наших твердых, терпеливых, все переносящих пролетариев. Привык, сросся я с ними и, отрываясь, чувствую боль. Вернусь ли? А если вернусь, кого застану? Прощай, мой город! Не ударим мы лицом в грязь, не опозорим на фронте твое славное имя, твое героическое прошлое! Прощай же, прошлое, — боевое, красивое прошлое! Здравствуй, грядущее! Здравствуй, новое, неизведанное, еще более славное, еще более прекрасное!»

По прибытии в Самару Фрунзе назначает Фурманова комиссаром 25-й дивизии, предупреждая, что партия поручает ему эту полупартизанскую дивизию во главе с Чапаевым — крутым, до сих пор не поддающимся политическому воздействию командиром.

Бурную эпоху 1918 и 1919 годов, когда масса стихийно шла на фронт, когда организовывались повстанческие отряды, когда Красная Армия еще не была скована



Д. ФУРМАНОВ и В. ЧАПАЕВ.

Уфа, 1919 г.

железной дисциплиной, Фурманов красочно и правдиво описал в своей книге «Чапаев».

Чапаев — почти неграмотный человек. Чапаев, который думал, что если отобрать у кулаков и буржуазии имущество и разделить его, то это и будет коммунизм; Чапаев, который не понимал, что коммунисты и большевики это одно и то же; Чапаев, который ничего не слышал и не знал о Третьем Интернационале, но сражался за его дело; Чапаев, вожак революционных крестьян, разбивающий под руководством большевиков полчища врагов революции; непобедимый, бесстрашный герой Красной Армии — таким он встает перед нами по книге Фурманова.

Фурманов ярко показал порыв масс и сознательную волю рабочего класса, которые творили революцию и победили в гражданской войне. Он дает Чапаева не только в огне битв, но и дома. Показывает его во всех положениях.

И образ Чапаева для нас является образом той революционной стихии, которая вынесла Чапаева, была организована большевиками и дала нам победу.

Фурманов очень скромно осветил свою роль в повести о Чапаеве. Не рассказал он о том, что был первым комиссаром дивизии, любимым другом Чапаева и чапаевцев. Своей чуткостью, дисциплинированностью, твердой волей превратил он эту полупартизанскую дивизию и ее командиров в стойких бойцов Красной Армии. Частые походы, бои, в которых Фурманов принимал непосредственное участие, не мешали ему вести большую политическую работу в дивизии. Он хорошо знал командиров и комиссаров дивизии, умел подбирать людей, расставлять их на всех участках. Фурманов неоднократно личным примером увлекал дрогнувшие части вперед. За боевой пыл, за чуткость его любили бойцы, любили командиры. Образ Фурманова — комиссара Федора Клычкова в «Чапаеве» не двойственен. Он также един в своей многогранности, как едины та могучая партия, делу которой отдал Фурманов всю свою жизнь.

В книге «Чапаев» поражают исключительная скромность и искренность Фурманова в передаче своих настроений. Нет самолюбования, рисовки. Фурманов с беспредельной откровенностью рассказывает о своем первом боевом крещении:

«Сердце сжималось и замирало тем особенным необъяснимым волнением, которое охватывает всегда при приближении к месту боя и независимо от того, труслив ли ты и робок или смел и отважен — спокойных нет — это одна лирическая болтовня, что есть совершенно спокойные в бою, под огнем: этаких пней в роду человеческом не имеется. Можно казаться спокойным, можно держаться с достоинством, можно сдерживать себя и только не поддаваться быстро воздействию внешних обстоятельств, — это вопрос иной. Но спокойных в бою и за минуту перед боем не бывает и не может быть».

С беспощадной откровенностью Фурманов рассказывает, как первый боевой блин оказался у него комом:

«Федор сразу растерялся, но виду не подал, как внутри у него что-то вдруг перевернулось, опустилось, охладело. Будто полили все внутренности мятными каплями. Он некоторое время продолжал идти, но вот немного отделился, отстал, пошел сзади, спрятавшись за лошадь. Так,



Д. Фурманов. Комиссар Чапаевской дивизии.

*Уфа, 1919 г.*

прячась, он перебежал два раза, а дальше вскочил в седло и поскакал. Куда, он сам того не знал, но прочь от боя он не хотел скакать. Только бы отсюда, из этого места, уйти. Уйти куда-то в другое, где, быть может, не так свистят пули, где нет опасности».

Многие ли из фронтовых бойцов решились бы рассказать о таком моменте? Честность и прямота, свойственные Фурманову, дали ему мужество не скрывать минутной слабости. Того, что случилось с ним в первом бою, никогда больше не повторялось во все годы гражданской войны. А бывали положения во много раз более тяжелые, когда Фурманов смотрел смерти в глаза.

Фурманов с Чапаевым были неразлучны. Чапаев



полюбил Фурманова, как своего учителя, который осторожно и терпеливо подходил к нему и, как ребенку, втолковывал ему сущность революционных событий. На каждом слове ловил Чапаева, его же словами осторожно разубеждал, показывал на примерах, заставлял по-иному рассуждать. Чапаев первых встреч с Фурмановым и Чапаев последних дней были не похожи друг на друга. Семена, брошенные Фурмановым в эту здоровую, крепкую гялову, давали хорошие всходы. Через Чапаева Фурманов влиял и на всех командиров.

Как-то Чапаев, высказывая Фрунзе свое удовлетворение комиссаром, сказал, что он не побоялся бы дать своему комиссару командовать полком. Это было наибольшей похвалой.

Мысль стать командиром разбередила Фурманова. В беседах он говорил:

«Неудовлетворенность какая-то гнетет. Я чувствую недовольство собой... Мы в роли комиссаров учимся многому. Но еще далеко не командиры. Вот я и хочу занять сначала маленькое место, поучиться работать вчерне, а когда научусь, тогда можно занять и ответственный, крупный пост... Если же я почувствую, что не гожусь командиром, я оставлю работу тотчас же».

Фурманов прежде всего революционер с головы до ног; это настоящий коммунист-ленинец, который в течение всей гражданской войны отдавал свою энергию, свой ум и свою кровь делу борьбы за революцию. Это был человек редкого таланта, сумевший выработать подлинно большевистский стиль жизненной деятельности.

## НА ТУРКЕСТАНСКОМ ФРОНТЕ

Осенью 1919 года, за несколько дней до гибели Чапаева, Фрунзе отзывает Фурманова и назначает его начальником Политуправления туркестанского фронта. В январе 1920 года Политуправление туркестанского фронта перебрасывается в Ташкент.

Февраль 1920 года. Тяжелое положение в далеком Семиречье заставляет Фрунзе направить Фурманова уполномоченным Реввоенсовета туркестанского фронта по Семиречью.

Оторванная от центра 3-я дивизия в сложной семиреченской обстановке подвергалась бесконечным нападениям атаманов Щербакова и Лишенкова. Обстановка заставила Фурманова вникнуть во все дела Семиречья. Он изучал все: хлопководство, животноводство, национальные взаимоотношения, партийную работу. Он внимательно присматривался к людям, записывая в своем дневнике каждую встречу и давая яркую характеристику людям. Встречаясь с Джиназаковым, присланным туркестанской комиссией по разбору дел беженцев из Китая, Фурманов точно и верно определил его как чужого нам человека — бая, пытавшегося использовать создавшееся тяжелое положение с беженцами в контрреволюционных целях. Джиназаков почувствовал сразу, что Фурманова провести ему будет чрезвычайно трудно, что Фурманов раскроет все нити его заговора, и он решил пойти в контратаку: на заседании ревкома он заявил, что в Семиречье существует заговор и



Д. Фурманов  
на туркестанском фронте.

1920 г.

что главой этого заговора является Фурманов и его товарищи, прибывшие из центра.

«Я дал телеграмму центру, указал на это сообщение и указал, что эта мысль распространяется, вероятно, в широких кругах. В этом меня убеждает следующее: местные казахские коммунисты хотели постановить на своем заседании — отозвать с ответственных постов всех казахов в знак протеста против якобы гонения на мусульман — и против ареста Джиназакова, который арестован по моему распоряжению. Словом, тут все эти приспешники Джиназакова делают гадкое дело».

Фурманов дал правильную оценку Джиназакову, который потом, в 1921 году, перешел на сторону басмачей.

Когда был получен приказ Фрунзе о переброске семиреченских частей в Фергану, Фурманов заволновался. В сводках и донесениях он писал о возможности восстания. И мятеж грянул раньше, чем предполагали. Лишь только вспыхнул мятеж, крепость города Верного была занята восставшими, отказавшимися идти на Фергану.

Фурманов понял, что первый выстрел будет сигналом к восстанию населения всей области. Атмосфера была настолько накалена, что восстание грозило перекинуться во все концы с быстротой молнии. Фурманов принимает быстрые меры по изоляции мятежа в пределах города Верного и его окрестностей. Таким образом он убивает движение в зародыше, обрекает его на самосожжение.

Задумано было стройно и широко: предотвратить кровопролитие — такова первая задача; выполнить приказ партии о переброске частей — вторая задача.

Семь дней и семь бессонных ночей длились «дипломатические» переговоры с мятежной крепостью. Всякими способами распространялись слухи одвигающихся на помощь Военсовету частях, броневиках. Пятнадцать коммунистов во главе с Фурмановым решили переломить пяти тысячную толпу мятежников, расслоить ее.

Восстание было ликвидировано бескровно благодаря энергии Фурманова, его стойкости и героизму.

Фурманову и его товарищам не раз пришлось смотреть смерти в глаза. В книге «Мятеж» есть одно замечательное место — его советы, как держаться перед взбунтовавшейся толпой:

«Когда не помогают никакие меры и средства — все испытано, все изведено и все безуспешно, — сойди с трибуны,

Замыслил и

толпа за окном, торжественно  
в дверь или сразу вступают да-  
творами - я неформально и жду  
его педу - не знаю кем же возво-  
но франкизм: введу, рассержу и  
баета. Только бы не был о, божько  
бы не был - пусть рассержу, но ра-  
зачи да и сверху до здесь благодар-  
нее, впрочем она не только бла-  
годарнее, но и красивее прекраснее  
мне, думаю, это у меня, я считаю  
спокойно и твердо

Запись Д. Фурманова в крепости, г. Верный (Алма-Ата).

13 июня 1920 г.

с бочки, с ящика, все равно с чего, сойди так же  
смело, как вошел туда. Если быть концу — значит надо  
его взять таким, каким лучше нельзя. Погибая под кула-  
ками и прикладами, помирай агитационно, чтобы и от  
смерти твоей была польза. Умереть по-собачьи, с визгом,  
трепетом и мольбами — вредно. Умирай хорошо. Все  
выверни из нутра своего, все мобилизуй у себя в мозгах  
и сердце. Не жалей, что много растратишь энергии. Это  
ведь твоя последняя мобилизация. Умри хорошо. Больше  
ничего сказать — все».

В этом отрывке — весь Фурманов. Таким он был, таким  
он говорил перед мятежной крепостью. Вполне понятно,  
почему красноармейцы его заслушались, почему громад-  
ная взволнованная мятежная толпа притихла, почему  
один говорил другому:

— Надо слухнуть, чего там брешают...

Напряженная мысль о выполнении приказа дает един-  
ство и смысл всем отдельным поступкам, на первый взгляд,  
не связанным между собой. Преодоление препятствий,  
железная воля, стремящаяся к победе. Книгу «Мятеж»  
Фурманов пишет, как и «Чапаева», по своим записным

книжкам, которые он вел всегда, везде, в любой обстановке. Остался замечательный документ, написанный Фурмановым в тюрьме накануне предполагавшегося расстрела. Перед тем как попасть в тюрьму, Фурманов ведет заседание в Киргизской бригаде. Вызывают в крепость — Фурманов кончает заседание, протокол засовывает в карман. В крепости Фурманова и товарищей бросают в тюрьму. Они сидят в ожидании расстрела. Из угла в угол ходит Фурманов, рука в кармане нащупывает бумажку; он вынимает ее, садится к свету и на оборотной стороне протокола записывает последние мысли:

«Зашумит ли толпа перед окном, толкнется ли кто в дверь или вдруг застучат затворами — настораживаюсь и жду. Чего жду — не знаю. Кажется, вызова по фамилии: выведут, расстреляют — и баста. Только бы не били. О, только бы не били — пусть расстреляют, но разом, да и смерть-то здесь благороднее. Впрочем, она не только благороднее, но и красивее, прекраснее... Мне думается, что умереть я сумею спокойно и твердо... А как не хочется умирать!.. Как хочется жить!.. Жить!..»

Сломался огрызок карандаша, и Фурманов прекратил запись. Через час их освободили, а через два дня был ликвидирован мятеж. Приказ, данный партией, Фурмановым был выполнен.

## КОМИССАР КРАСНОГО ДЕСАНТА, НАЧПОДИВ IX КУБАНСКОЙ АРМИИ

**1920** год. Тяжелое положение на Кубани. Улагай высадил десант на Азовском море и угрожал Краснодару. Партия бросает Фурманова на этот тяжелый участок. Сейчас же после ликвидации мятежа Фурманов едет на Кубань, где назначается комиссаром красного десанта, отправляющегося в глубокий тыл к белым.

Погрузились утлые пароходишки кубанского флота и отплыли в неведомую даль. Был дан приказ о строжайшем соблюдении тайны этой операции. Фурманов строго следил за тем, чтобы никто не знал, куда плывут пароходы. Даже близким своим родным он не сказал ни слова. От соблюдения тайны зависел успех операции и жизнь тысячи лучших бойцов.



**Д. ФУРМАНОВ**  
*Кубань, 1921 г.*

Глубокая, темная осенняя ночь. Приглушенные разговоры. Командирский пароходик тащит баржи с бойцами. То там, то здесь мелькает фигура Фурманова. То он присядет к бойцам, ободряя их, то внимательным взором всматривается в берега, заросшие высоким камышом. На расвете в густом тумане подплыли пароходы к берегу станции Новонижестеблиевской.

Фурманов везде. Он руководит выгрузкой. Вот замелькала его фигура на лошади во главе отряда. Руководя отрядом и лично участвуя в боях, Фурманов получает тяжелую контузию, но из строя не выходит, остается до конца на посту.

После двухсуточного тяжелого боя улагаевский десант был разгромлен. За эту операцию Фурманов был награжден орденом Красного знамени.

Октябрь 1920 года. Фурманов назначается начальником политотдела IX Кубанской армии.

Не любил Фурманов бумажного руководства. Часто выезжал он в части, хорошо знал своих комиссаров, знал, кто чем живет, какие беды, горести в частях. Умел ценить, отмечать и выдвигать способных работников. Не любил хвастовства, подхалимства и грозой обрушивался, когда обнаруживал это в работниках. Тут он не считался ни с каким положением, ни с каким постом. «Раздевал», как выражались тогда, подхалима и хватуна, требовал его смещения. А если еще попадались партийцы на этом деле, — тут уже пощады ждать от Фурманова нельзя было. Сам он был честен и прям, окольных путей не признавал и не выносил этого в других.

Он был прекрасным товарищем, заботливым, внимательным, скромным, лишенным каких бы то ни было черт ханжества, человеком с горячей кровью в жилах, страстно любящим жизнь. Более жизнерадостного человека трудно себе представить.

## ПИСАТЕЛЬ-БОЛЬШЕВИК

Глубокой осенью 1921 года Фурманов возвращается в Москву. Впервые он получил возможность отдаться любимой литературной работе.

Вся писательская работа Фурманова была продолжением

его записей. Его произведения выросли из дневников, и сырье повседневных записей иногда непосредственно прорывалось на страницы его произведений. Революция, гражданская война обогатили Фурманова исключительным опытом. Он видел вещи, которые не каждому дано было видеть. Он прошел блестящий путь с легендарной дивизией Чапаева, в качестве комиссара красного десанта совершил смертельно опасный рейд в тыл к белым.

У Фурманова богатая биография революционного бойца. И он сумел ее рассказать. Фурманов был создан революцией, он питался ее соками. Он был воин, коммунист и писатель. Начал Фурманов писать еще до гражданской войны. Первые его произведения были наивны и не обнаруживали в авторе той силы, которая развернулась в его позднейших произведениях. Фурманов пришел к профессии писателя закаленным и возмужавшим, взгляд его стал острее. Он принес с собой громадный запас впечатлений, свой материал.

«Думал, думал о разном, и вдруг стала проясняться у меня повесть, о которой думал неоднократно прежде, — мой «Чапаев». Ее надо сделать прекрасной, пусть год, пусть два, но ее надо сделать прекрасной. Материалу много, настолько много, что жалко его вбивать в одну повесть. Увлечен... увлечен, как никогда».

Фурманов погружается в работу. Днем он работает в учреждении, а ночами сидит до рассвета, откладывая листок за листком будущего «Чапаева».

«Я мечусь, мечусь... Ни одну форму не могу избрать окончательно. Дать ли Чапая действительно с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, т. е. хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь к первому».

Фурманов охвачен Чапаевым. Снова, как бывало в 1919 году, носится он с ним по фронту; встают картины боя, боевых командиров, любимых ивановцев. Ложился — думал о Чапаеве, вставал — все о нем. Ни на минуту Фурманова не оставлял образ Чапаева. Наконец, он дописал последний листок, — «Чапаев» лежал перед Фурмановым на столе.

«Только что закончил я последние строки «Чапаева». Отделал начисто, и остался я будто без лучшего, любимого друга. Чувствую себя, как сирота. Я много положил



на него труда, много провел за ним бессонных ночей, много и часто думал о нем на ходу, сидя за столом; даже на работе не выходил у меня из головы любимый Чапай».

Образ Чапаева не навязывался читателю автором. Фурманов дал нам образ вождя революционных крестьянских полков, взятых в стальной обруч пролетарского руководства. Эта основная мысль постепенно постигается самим читателем.

Фурманов много и упорно думал о том, как писать и что писать. Его волновала мысль, как добиться того, чтобы произведения советских писателей доходили до широких масс, чтобы они были понятны, близки массам. Иногда среди бессонных ночей, когда Фурманов сидел за своей книгой, его охватывали сомнения. Именно в эти дни он особенно много и упорно думал над вопросами искусства.

«Как писать — вопрос удивительный, непонятный, почти целиком обреченный на безответность. Впрочем, крошечку завесы поднять все-таки можно. Так, чтобы действовало в отношении художественном, подымало, будило, родило новое. Драма, повесть, стихотворение, — все равно, только не упивайся одной техникой: она вещь формальная, она, как тина болотная, втягивает и губит подчас с головой. Остается голая любовь к форме — это нечто не наше, враждебное, совсем, совсем чуждое. Пиши, чтобы понимали».

«Все ли можно писать?» — задает себе Фурманов вопрос. И тут же отвечает:

«Все, только... Писать надо то, что служит непременно, прямо или косвенно служит движению вперед. Для фарфоровых ваз есть фарфоровое время, а не стальное».

Еще один вопрос волнует Фурманова — вопрос о том, каков должен быть советский писатель.

«Я себя мыслю более целесообразней использованным именно в литературной работе. Это дает и личное счастье и удовлетворенность. Но каждый человек должен быть на учете. Дисциплинирован. Теперь эпоха борьбы, а не отдыха. Борьба за новое, свободное общество. Хочешь ты его или нет? Если хочешь, не ограничивайся одними словами, а дело делай. Если же не хочешь, — тогда что с тобой делать: открыто выступишь — бить будем, в скорлупу свою скроешься, замкнешься — презираем будешь... На следующий же час по твоём отходе от активной борьбы ты почувствуешь на себе миллионы презирающих тебя



Д. Фурманов за работой над «Мятежом».

*Москва, 1924 г.*

пролетарских глаз!!! Сам я вот как: продолжаю писать, пока позволяют обстоятельства; оторвут, дадут работу иную, даже не милую — пойду, потому что уйти от рабочей борьбы мне некуда!»

Основной чертой характера Фурманова была жизнерадостность человека, живущего полной интеллектуальной и общественной жизнью, борющегося, творящего и радующегося от ощущения этих высоких проявлений жизненной деятельности. Он был очень загружен всевозможной работой и не мог бы сделать и половины того, что сделал, если бы жил, не регламентируя своей работы. Он всегда требовал делового ведения собраний, не любил болтовни. Он находил время для ежедневной гимнастики и обливания. Это давало ему зарядку на весь день.

Он жил плодотворной и деятельной жизнью. Дом его был притягательным центром для всех его друзей. В доме Фурманова люди чувствовали себя просто и естественно.

Писал он в эти годы много и упорно, изучал материалы, записывал, читал литературу по разным вопросам, особенно по вопросам искусства. Первая книжка о походе красного десанта в тыл белых была уже написана и

выпущена. Был написан и выпущен «Чапаев». Вторым крупным произведением была большая повесть о Семи-реченском мятеже.

Фурманов понимал значение «Чапаева», но в то же время его окрепший художественный глаз видел и недостатки этой книги. В последние месяцы своей жизни он производил большую работу по правке «Чапаева». Правил он прямо в книге, где каждая страница испещрена поправками. К сожалению, он успел переработать только сто страниц.

Приступая к новому произведению, Фурманов раскрывал свои дневники, продумывал и разрабатывал детали темы, намечал, развертывал сюжет, составлял списки, биографии героев, делал характеристики действующих лиц и уже потом, когда для него все было ясно, садился писать. Писал он не отрываясь.

В архиве его осталась интересная переписка с молодыми, начинающими писателями. Фурманов огромное значение придавал молодому движению рабкоров, работал по организации его. Работая в Гослитиздате и в Московской ассоциации пролетарских писателей, он получал очень много писем от молодых писателей. Ни одного письма не оставлял Фурманов без ответа. Если же попадался начинающий талантливый писатель, Фурманов радовался этому, как ребенок, хлопотал за него, вытягивал в Москву, заставлял его учиться.

Однажды он получил десять больших книг конторского типа со стихами, а вслед за ними приехал сам автор. Фурманов внимательно прочитал все стихи, вызвал к себе автора, долго с ним беседовал и осторожно убеждал его в том, что он не за свое дело взялся. Беседа была настолько теплая и дружеская, что этот поэт, ничуть не обидясь, забрал все свои десять томов и уехал к себе домой. Много времени спустя Фурманов получил от него письмо, в котором тот благодарил его за советы и рассказывал, что он учится и одновременно является хорошим производственнымником у себя на заводе.

Фурманов горел на работе и совершенно не щадил своего здоровья. Нервная система, расшатанная гражданской войной, часто давала себя знать.

Но разве можно было удержать его бурлящую творческую энергию в рамках, которые устанавливала для него медицина!

В 1923 году Фурманов вступил в Московскую ассоциацию пролетарских писателей и был выбран ее секретарем.

Общественно-литературная работа была для Фурманова новым полем классовой борьбы, развивавшейся в чрезвычайно сложных формах. Однако он быстро понял сущность враждебных партий литературных течений и группировок.

Фурманов последовательно боролся с ожившими на почве нэпа буржуазными течениями в литературе и с буржуазными влияниями на пролетарскую литературу. Он боролся не покладая рук с троцкистскими выродками типа Вардина, Лелевича, Авербаха. Он уже тогда понял сущность разъедавшей пролетарское литературное движение авербаховщины как беспринципной и замаскированной агентуры троцкизма. Авербаховщина, прикрываясь «левой» фразой, ставила своей целью озлобить против партии и советской власти кадры честных советских писателей из крестьянства и интеллигенции. Записки Фурманова времен 1925 года — это боевые донесения, тревожные, волнующие: «Перед боем», «После боя», «Атака», «Наступление». В одной записке — «Борьба» Фурманов говорит:

«Дело настолько ясное, что только подлостью можно ухитриться затуманить его. Оттереть на время. Вьются подлецы, как змеи. Авербаху подышать неохота, а чувствует, что дохнет, что на глотку ему наступили мы гвоздекованными сапожищами.

Надо раздавить, враз раздавить, — иначе оживет...»

Фурманов понял подлую подрывную работу в литературе троцкистов Вардина, Лелевича, Авербаха и их приспешников и стал открыто выступать против них, мобилизуя вокруг себя писателей, преданных партии Ленина — Сталина.

Враги пытались подорвать авторитет Фурманова среди писателей. «Фурманов, — говорили они, — не писатель, а только мемуарист». Его травили за то, что он был предан ленинско-сталинскому ЦК и проводил в области литературы линию ЦК. Дело доходило до того, что враги народа открыто травили Фурманова и за то, что он прислушивался к голосу ЦК, держал тесную связь с отделами ЦК. В эти дни Фурманов пишет в дневнике:

«Я пошел в ЦК потому, что не считаю вообще зазорным

ходить туда по некоторым вопросам советоваться, и только групповым злопыхательством, только исключительной узкостью подхода и даже враждебностью можно объяснить убеждения, что в ЦК вообще ни за чем ходить нельзя. Если это предательство, то нам, пожалуй, на версту надо обходить наш ЦК и всех его работников, не являющихся «напостовцами» (так называли себя враги партийной линии в литературе по названию своего журнала «На посту». — А. Ф.). Я же считаю, что «напостовство» вещь в значительной степени дутая и раздутая; идеология здесь зачастую подводится для шику, для большего эффекта, что самое дело раздуть куда как крупно, а двум-трем его вожакам славиться чуть ли не на всю вселенную. О бараны туголобые! Если не сказать больше!»

В этой борьбе Фурманов был беспощадным, боролся бешено; он прекрасно сознавал, что от того или иного исхода этой борьбы зависят дальнейшие судьбы организованного пролетарского литературного движения.

Фурманов требовал смены руководства, приближения к пролетарской литературе организации честных советских писателей из интеллигенции, которых называли тогда «попутчиками», изгнания из писательской среды склочников, проходимцев.

Ведя эту борьбу, Фурманов начал работать над двумя новыми крупными произведениями. В одном — «Эпопея гражданской войны» он задумал развернуть монументальную картину гражданской войны. Такие замечательные свои работы, как «Чапаев» и «Мятеж», и все очерки и рассказы о гражданской войне он считал только материалом для большой трилогии. В другом произведении — «Писатели» он хотел показать современную литературную среду. Его неисчерпаемые дневники и заметки послужили бы замечательным материалом. Но сделать этого Фурманову не удалось.

На чрезвычайной конференции Российской ассоциации пролетарских писателей Фурманов с высокой температурой делает доклад и требует выполнения постановления ЦК о литературе.

Измученный, больной, он шлет с постели последние слова этой конференции.

«Приветствую чрезвычайную конференцию, собравшуюся решить важные вопросы для обеспечения правильного руководства пролетарской литературы. Требую полностью

выполнения постановления ЦК о литературе, привлечения «попутчиков», близких нам, очищения наших рядов от двурушников, интриганов и склочников».

Это было последнее предупреждение Фурманова. Перед тем как потерять сознание, 13 марта 1926 года Фурманов, вырываясь из рук державших его товарищей, говорил:

«Пустите меня, пустите... Я еще не все успел сказать. Не все сделал... Мне еще так много надо сделать...»

С этими словами он потерял сознание и через два дня, 15 марта, в 9 часов вечера, умер.

Всю свою сознательную жизнь Фурманов боролся за дело Ленина—Сталина, за генеральную линию партии, никогда от нее не отходил, ненавидел врагов, разоблачал их. Жизнь этого замечательного комиссара Чапаевской дивизии, смотревшего не рзз в глаза смерти, — яркий пример для молодого поколения. На какой бы фронт ни посылала его пролетарская революция, какое бы дело ему ни поручала партия, — везде оказывался он в первых рядах. Многого он не успел сказать, многое не сделал, но то, что осталось после него, является бессмертным памятником ему, бойцу-писателю-большевику.

## СОДЕРЖАНИЕ

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ .....	3
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ .....	10
НА ВОЙНЕ .....	15
ВСТРЕЧА С М. В. ФРУНЗЕ .....	17
КОМИССАР ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ .....	21
НА ТУРКЕСТАНСКОМ ФРОНТЕ .....	26
КОМИССАР КРАСНОГО ДЕСАНТА, НАЧПОДИВ IX КУБАН- СКОЙ АРМИИ .....	30
ПИСАТЕЛЬ-БОЛЬШЕВИК .....	32

90031

Редактор Г. Акопян  
Художеств. редактор С. Подлович  
Техред Н. Лебедева  
Корректор З. Патеревская

Сдано в набор 3 мая 1938 г. Подписано в печать 3 июня 1938 г.  
Государственное издательство политической литературы № 196.  
Уполномоч. Главлита № Б-44976. Тираж 50 тыс. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Объем 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> печ. л. 40 тыс. зн. в 1 печ. листе. Заказ № 174.

Цена 40 коп.

3-я фабрика книги «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига»,  
Москва, Краснопролетарская, 16.